

КАЗАНЦЕВ Б.

ДЕРЖУ в руках грамоту: Клешинов отменен ею за участие в художественной самодельности. Много их у него, этих грамот.

— С «Теркин» выступали, Андрей Андреевич? — все же спрашиваю, хотя был почти уверен в том.

— Не только, — возражает он с улыбкой, потом подтверждает: — И с ним. Нет, не всю наизусть поэму выучил. Разве что две главы..

И те две главы дались ему непросто. Не в памяти тут дело, она-то у него отменная. Не глазами Клешинов по строчкам «Книги про бойца» бежал, нет — пальцами правой руки.

О поэме Твардовского он уж после войны узнал. После тяжелого ранения в январе сорок третьего года для него осталась позади.

— И когда она совсем кончилась, я ни о какой слепой грамоте и не слышал. Девятого мая сорок пятого всей деревней отпраздновали мы Победу и продались с женой в Архангельск. И вот как-то на собрании в обществе слепых слышу дре-женщины разговаривают: «Ты что сейчас читаешь?» — одна спрашивает. — «Преступление и наказание». Ну, я удивился! Думал, можно научиться чему-нибудь вроде «мама мыла раму». А тут — Достоевский! Попросил я одного парня: ты мне букварик привези. Приехал он ко мне домой, мы тогда на Краснофлотском жили. Пока мать (кивок в сторону жены) самовар кипятила, все буквы алфавита наколот.

Так во второй раз в жизни начал он с букваря познать грамоту. Так потом в его жизнь вошла и книга, в которой и правда о войне, и любовь к жизни, и наша боль, и верность, и нежность...

В пятнадцать лет выпало Андрею Клешинову стать учителем географии. В глухой деревне Окуловской на Вологодчине учителей не хватало: выучился сам — учил других. В двадцать три был уже директором семилетки. Учителя имели отсрочку по призыву на службу. А уж как в Европе заполыхало, то и их стали призывать в строй. Но, оставив дома жену и годовалого сынишку, форму он надел сначала не армейскую, а курсантскую — в Брянском пехотном училище.

Обучали по ускоренному курсу. И в аккурат к началу войны пехотный офицер с лейтенантскими кубарями в петлицах оказался в Риге, где получил назначение в особый отдел восьмой армии, — так диктовалось необходимостью. Не знал тогда, не ведал недавний учитель-географ, что скоро ему самому предстоит изучать географию — суровую географию войны, отмеряя версты и версты пропыленным сапогами...

Для каждого фронтовика, вступившего в бой «с первых дней войны», память — как вечная незаживающая рана. Из сумятицы фактов, деталей тех первых дней войны, о которых вспоминает сейчас Андрей Андреевич, которые цепко хранит его память, вдруг тяжелеет, естественное, потому что выстраданное, обобщение-вздох.

— Война — это страшно... Страшно!

Уже побывав в полукружени с горсткой бойцов в сорок восемь человек вышел к своим, наткнувшись на штаб армии. Теперь он офицер связи. А это — поездки по переполненным беженцами дорогам.

— Фашистские самолеты по нашим дорогам тогда чуть не пешком ходили...

Слушаю его, и в памяти всплывает шемящее сердце полотно из триптиха «Фашизм — это убийство» Бориса Окорокова — «Одуванчик». Художник сильными мазками передал трагизм тех дней. В небе распластались черные крылья фашистские стервятники, горит земля, на дороге — вбитая женщина и рядом — ребенок-несмышленик тянется к цветку. Детская головка сама, как беззащитный перед ураганом войны белый одуванчик. Много будет пролитой крови, чтобы сохранить тот росток жизни.

— Оставляли Ригу. Немцы лезли на мост через Даугаву. Наш огонь сметает их, а они лезут и лезут. Это было, как нашествие крыс...

И все это — лишь первая неделя войны. Восьмая армия с боями отходила к Таллину. А когда подкова фронта вокруг столицы Эстонии уперлась концами в Финский залив совсем недалеко от города, был уже август. Она, эта подкова, почти на месяц отлегла на себя часть фашистских армий, рвущихся к Ленинграду. И еще почти месяц понадобился фашистам, чтобы согнуть эту подкову. Но выигрышное время дало возможность эвакуироваться нашим войскам. Кто-то, однако, должен был уходить последним.

— Я был в группе заслона. 28 августа фашисты были уже в городе. Там, на причалах, когда ушли последние суда и корабли, все перемешалось. Были и горячие головы. «Давайте выбивать немцев из города!» А какие мы выбивальщики?

Надо было уходить...

То была печаль большая, Как брели мы на восток. Шли худые, шли босые В неизвестные края. Что там, где она, Россия, По какой рубеж своя? Шли однако. Шел и я... Не зарвею, так прорвеюся, Будем живы — не помрем. Срок придет, назад вернемся, Что отдали — все вернем. Из Таллина им удалось пробиться группой человек в полтора десятка.

— Так началось мое путешествие по оккупированной земле

от Таллина до Малой Вишеры. Группой уже всего в девять человек мы и вышли к северному берегу Чудского озера, а по нему к реке Нарове. Вообще, самое трудное было — переправляться через реки...

В нескольких строках его рассказа — трудный и опасный путь. Но самое трудное было еще впереди.

— Перед тем как переправляться через Нарову, зашли в одну из деревень. Выпросились у хозяина на ночь. Он нам хлеба, молока и картошки принес. Спрятал на гумне. Был он русский. В тех местах, наверное, половина русских, хотя это и Эстония. Ну, мы, промокшие и продрогшие, отдыху рады, отоспались в соломе. А на следующий день, после полудня уже слышу: скрипнули ворота на гумне, и потом голос хозяйина: «Эй вы, вылазьте! Немцы идут...». Приоткрыл я дверь — вот они, уж окружают нас. Давай за мной, ребята!

Автоматная очередь прошла у него над головой. Рядом оказалась сухая канава, по ней он добежал до кустов. Оглянулся, за ним — никого. Может быть, та первая автоматная очередь

видят: верно — жив солдат.

Случилось это в бессолнечный, ветреный январский день сорок третьего. Группа офицеров, в которой были командир и комиссар полка, он, уполномоченный особого отдела Клешинов, и с ними связист отправились на рекогносцировку местности, по которой скоро предстояло наступать. Выползли на невысокий взболок на берегу реки. А он у немцев, видимо, был пристрелян. И вот — вой летящих мин.

— Сразу погиб связист. И меня считали погибшим. В те дни были сильные морозы, а из меня кровь хлестала. Еще немного — и я бы замерз.

Как-то буднично просто говорит об этом Андрей Андреевич. И тут не только временная отдаленность драматизма того январского дня — вот уже сорок два года! Нет, не только. Тут простое мужество человека, сознающего, что в те страшные годы каждый должен был делать и делал свое дело, а пуля или осколок не выбирают...

Очнулся он, когда в вечерних сумерках добравшиеся до него солдаты закатали безжизненное тело на плащ-палатку. И

ВСЕ ЭТО И О НЕМ

Рассказ об одной судьбе



остановила других, а все решали секунды. Сзади стрельба, взрывы гранат. Пополз в сторону леса.

Теперь он остался один.

На берегу Наровы — маленький блиндажик. Разобрал его, перетаскал кряжики к реке. В недалеком овине нашел веревку и жердь на берегу реки. Связал плотик, который едва держал его на плаву. Так, стоя на коленях, ночью переправился через реку.

Но это была лишь половина пути до Волхова. Он одолел и этот путь.

— Дайте перво-наперво хлеба, — сказал Клешинов, выйдя на группу наших солдат, копавших окопы. — И закуритесь!

— Откуда ты такой? Мы тебя в особый отдел отправим.

— Во-во, туда мне и надо, — и протянул им полевую сумку с сотней патронов, пистолет и последнюю гранату.

Клешинов воевал на Волховском фронте. Осень сорок первого — осень сорок второго. Он был уполномоченным особого отдела дивизии в полку. Но по обстоятельствам боя и ему приходилось бойцов в атаку поднимать.

Снявинские болота. Тяжелые бои в районе Чудова, Малой Вишеры. Высоты и болота. Отрезок времени в год. И была первая награда за те бои — орден Красного Знамени, полученный им уже потом — дома.

В марте сорок второго 24-я дивизия в которую входил его 71-й стрелковый полк, стала гвардейской. В том же месяце он написал заявление с просьбой о приеме в партию.

— В те дни мы вклинились узкой полосой в расположение противника, только перешеек остался, по которому к нам боеприпасы и продукты подбрасывали. Так вот там, в маленькой землянке, куда вдвоем едва втиснуться было можно, батальонный комиссар Лещук и вручил мне кандидатскую карточку...

А партбилет Клешинов получил уже тогда, когда вторая гвардейская армия и в ее составе 24-я гвардейская дивизия были переброшены в район Сталинграда. Сопровитались там фашисты отчаянно... Вдруг его рассказ высветился с неожиданной стороны:

— «Горячий снег» Юрия Бондарева читали? Это как раз о тех боях. А Бондарев в нашей армии воевал.

2-я гвардейская в числе других, сминная дивизии Манштейна, вышла к Дону и стала спускаться по нему на юг — пришел время выметать фашистов с Кавказа. Вот там-то, на берегу реки Маныч, и принял на себя Клешинов горячее клеймо войны.

Снег под ним, набрякши кровью, Взаялся грудой ледяной. Смерть склонилась к голышью: — Ну, солдат, пошли со мной. Смотрят люди: вот так штука!

простым, добрым лицом. В тот день она, как обычно, работала с ребятами в поле. Потом отпустила их, взяла Алику за руку и вышла навстречу подводе. До станции было далеко. Дождались — едет.

— Когда я увидела на нем темные очки, подумала: значит, хоть немного видит...

— Алик-то где? — спросил он. И у нее перехватило дыхание.

— Да вот он, рядом.

Отец положил руку на голову сына, потом на плечо.

— Так ведь он устал, столько прошел, — подсадил сына на подводу. — Ой, Алик, ты худой-то!.. Тебя мамка, наверное, плохо кормит.

— Нет, она мне молоко покупает.

Дома народу набилась полная изба: фронтовик приехал! И вот уже его ух уловило!

— У меня хоть бы и такой вернулся, — тихий женский вздох. — А он не вернется...

— Кому я такой-то нужен? — тоже тихо сказал он. — Семье на обузу.

— Павловна, тебя вчера весь колхоз осудил! — говорила ей на следующий день одна из подруг. — Вот он сказал: семье на обузу, а ты его не очернила, не обелила...

— Знаешь, Вера, что хотите, то и говорите, а я вчера самовар едва в руках удержала, когда на стол неслась.

Слез у нее не было. Но хотелось уйти в поле и там дать им волю. Она понимала, что сейчас надо держаться, держать себя. Потому что, расслабившись, не выстоит и против такого.

— Была у нас соседка, можно сказать, подругами были. Так вот она мне как-то и говорит: «Дура ты, дура, что приняла его. У вас ребенок есть да еще дети пойдут».

И тогда:

— Я плюнула ей в лицо!

Четыре с лишним десятка лет назад она плюнула в лицо человеческой подлости. Но, зная, что такие вот рассуждения людей со «здравым смыслом» могут дойти и до Андрея, она стала, уходя в школу, прятать дома ножи. И вот как-то, вернувшись домой, услышала:

— Где все ножи в доме? Хотел хлеба кусок отрезать...

— Да вот они!

— Знаешь что, Лена, если я там, в госпитале, ничего над собой не сделал, значит, буду жить!

Через год у Клешиновых родилась дочь.

Мать-земля родная наша, В дни беды и в дни побед Нет тебя светлей и краше И желанней сердцу нет.

И было возвращение к жизни. Надо было стать нужным людям. Ибо только этим измеряется все человеческое в человеке.

Поняла, что было у него какое-то предубеждение против общества слепых. Вот это, наверное, и было: можно научиться чему-нибудь вроде «мама мыла раму»... Через два года он был уже заместителем председателя его правления.

Из послевоенных воспоминаний. В Котласе сгорело учебно-производственное предприятие общества. Надо было ехать кому-то из руководства восстанавливать его.

— Никто к голому месту не хочет идти, — смеется Андрей Андреевич. Он тоже тогда отказался. Но и председатель правления был мужик не простой. «Хорошо, — сказал он на заседании президиума. — Клешинов остается за меня здесь, в Архангельске, я сам поеду». Вот тогда и встал коммунист Клешинов:

— Так дело не пойдет! Я поеду, но как только предпримете дасть продукцию — отзываете обратно. Думаю, за год управлюсь...

Он уехал в январе, а в августе предприятие уже начало давать продукцию — валенки.

Смотрю на этого пепельноседого человека в темных очках. Какое-то обаяние доброй внутренней силы в нем.

На столике магнитофон — не для модных песенок тот магнитофон. В доме множество книг, но не тех, что поблескивают яркими корешками на пропыленных полках, а тех, в которых «Тихий Дон» в трех десятиках томов, тех, в которых волшебство и мудрость толстовского слова переданы выпуклыми точками, стирающими до блеска, до мозолей кончики пальцев читателя. В этих точках и мужественная простота поэмы Твардовского, в которой «вот стихи, а все понятно, все на русском языке». И тогда, много лет назад, прильнула душа Клешинова к этим строкам.

И еще узнаю: на всех встречах ветеранов 24-й гвардейской Евпаторийской дивизии они, Клешиновы, всегда бываю вместе. Как и на встречах в школах, куда Андрея Андреевича приглашают часто. И вот, когда выходят они перед собравшимися на встречу, то тут образ войны и нашей Победы не только в дыму и взрывах, а и в таком вот неброском проявлении человеческой верности, человеческой стойкости.

— Снегири! — удивленно говорит вдруг Елена Павловна. На еще не проснувшуюся от зимней спячки ветку дерева под окном их квартиры в Варавине сел красногрудый красавец. Маленькая девочка с лопаткой и ведерком в руках стоит у подъезда и тоже зачарованно голубыми, как весеннее небо, глазами смотрит на птицу. Голова в белой пуховой шапке, как одуванчик...

Б. КАЗАНЦЕВ.
На снимке: супруги Клешиновы.
Фото В. Гайкина.